

АНТРОПОЛОГИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

«ПАТТЕРН УДАЛЕННОСТИ» И ЖИЗНЬ НА РУИНАХ: ПОВСЕДНЕВНОСТЬ И ТУРИЗМ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ¹

Лидия Яковлевна Рахманова (lrakhmanova@hse.ru)

НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург, Россия

Цитирование: Рахманова Л.Я. (2024) «Паттерн удаленности» и жизнь на руинах: повседневность и туризм в Томской области. *Журнал социологии и социальной антропологии*, 27(2): 116–151. <https://doi.org/10.31119/jssa.2024.27.2.5>. EDN: FFEFMD

Аннотация. Рассматривая неочевидные мозаичные переплетения повседневной жизни местных жителей и практик туризма в отдаленных районах Томской области, автор подвергает ревизии понятие «паттерн удаленности» в интерпретации Кэролин Хамфри (2015), который формируется именно в «провинциальном» постсоциалистическом контексте в оппозиции к пространственным формам, диктуемым метрополией. Серия парадоксов окружает специфическую индустрию туризма в Томской области: отрицая связность, простоту доступа к территории и прозрачность, местные жители и предприниматели создают сложноорганизованную сеть, в которой особой привлекательностью обладают руины и мемориализация исторической травмы, а ключевой опыт, который предлагаемый путешественнику, — опыт собственной аутентичности через испытание. Другой парадокс заключается в том, что чем больше происходит разрушение инфраструктурных элементов, тем ярче проявляется потенциал туризма в регионе. Это наблюдение требует пересмотра этнографических исследований туристических практик за пределами концепции консервации, сохранения наследия и устойчивого развития сообществ. На основе серии кейсов предлагается альтернативный взгляд на понятие «ресурс» в контексте туризма: о чем говорит тот факт, что дикость ландшафта, руинирование следов антропогенных элементов выходят на первый план и оказываются достопримечательностью? Как может руинизация и возрождение дикости ландшафта поставить под вопрос взгляд на удаленность как *неравенство* и, более того, инфраструктурное *насилие*? Шаг, предлагаемый автором статьи, позволяет увидеть ресурсность состояния «нехватки», которое может быть основой инфраструктурной автономии. Рассматриваются также отношения удаленности со временем и темпоральностями, с одной стороны, через связь туризма и местных форм жизни с трагической историей ссылки и спецпереселенцев, с другой стороны, через оспаривание

¹ Статья написана при поддержке гранта РФФИ № 20-59-76003 ЭРА_т «Преобразование природы в окружающую среду на туристических фронтах: сообщества, сохранение и устойчивое развитие в отдаленных районах».

взгляда, согласно которому удаленность означает маргинализацию через исключенность из процессов модерности.

Ключевые слова: антропология инфраструктур, удаленность, туризм, руины, дикость, Томская область, ландшафт, мемориализация.

Введение

Утверждение Джеймса Скотта (2009) о том, что, осознанно выбирая удаленное положение в пространстве, группа или сообщество таким образом сохраняет свою автономию, предстает перед нами в совершенно иных красках, когда речь идет о регионе Приобья со сложной и противоречивой историей освоения. Прежде чем говорить о пространстве, ландшафте и разнообразных мирах, в которые попадает турист и путешественник в этом регионе, необходимо обрисовать ситуацию, в которой оказались различные поколения местных жителей — «сибиряков вольных и невольных»¹. Кто и зачем стремится сохранять свою автономию, кто же, напротив, измучен условиями изоляции и удаленности и не видит ее ресурсную сторону? На берегах среднего течения Оби мы имеем дело с крепкими деревенскими хозяйствами рыбаков и охотников, семьями потомков спецпереселенцев, общинами старообрядцев-бегунов, инженерной интеллигенцией, переехавшей сюда в 1950-е годы для работы на исследовательских и технических должностях. История каждого переселения, каждой волны миграции на данную территорию имеет свой уникальный контекст. В случае моего исследования, связанного с путешествиями и туризмом, важно отметить то, что для тех людей, которые укоренились здесь в разные эпохи и составляли и составляют принимающее сообщество, это переселение не всегда было добровольным.

Обозначенные выше контексты отсылают сразу к нескольким направлениям: фокус на *руинах* советских поселков и предприятий — к постсоциалистическим исследованиям, специфически дополненным сибирским контекстом; фокус на удаленности (и том факте, что именно в сельском окружении руины работают иначе, чем в городских кварталах) — к *антропологии инфраструктур* (Appel et al. 2018; Harvey, Кнох 2015). Наконец, рассуждение о роли инфраструктур — их наличия, отсутствия, разрывах, сочетается с неотъемлемым контекстом поселков, возникших благодаря труду и выживанию спецпереселенцев, а не благодаря добровольной миграции. Это поле выглядит довольно пестро и лоскутно: в чем же суть моей интервенции и какой пробел или разрыв она перекрывает?

¹ <https://tomskmuseum.ru/projects/sibiryaki-volnye-i-nevolnye/>.

Руина: «мягкая» или «жесткая» инфраструктура?

Специфика моего взгляда, безусловно, заключается не только и не столько в изучении западносибирской региональной инфраструктуры в постсоциалистическом контексте: зарубежные и российские исследователи как раз работали в этом поле и весьма плодотворно, глядя на то, как трансформируется пространство Восточной Сибири, поселков на БАМе, городов Монголии, и Забайкалья, различных уголков Румынии (не только в постсоциалистическом, но и постлагерном измерении)¹. Все эти исследования этнографически работают с «пространством» по-разному: оно может быть предметом диалога с региональными властями, опорой для формирования солидарности в местном сообществе, «землей», которая является предметом раздела, способом спрятать какие-либо процессы и явления у граждан страны прямо «под носом». При этом я хочу подчеркнуть тот факт, что антропология инфраструктур как сфера исследований создает иллюзию очевидности и ясности того, что именно происходит между людьми и инфраструктурами: «Люди работают над вещами, чтобы работать друг над (с) другом, в то время как эти вещи работают над ними»² (Simone 2012). Подобная оптика наделяет агентностью каждый элемент инфраструктуры (железная дорога, река, кладбище) просто потому, что эти феномены («жесткие» инфраструктуры / *hard infrastructures*) являются «классическими антропологическими субъектами» (Appel, Anand, Gupta 2018: 4). Стоит сделать шаг в сторону, чтобы спросить, что такое в этом контексте руина здания или моста? Как изменяется агентность хорошо скроенного, работающего элемента, когда он начинает разрушаться? Сохраняет ли истлевающий, рассыпающийся на опилки объект статус «жесткой» инфраструктуры или он становится уже элементом «мягкой» инфраструктуры (*soft infrastructure*)?

Казалось бы, мультимедийная этнография снимает эту неясность между мягкими и жесткими инфраструктурами и человеком и выводит человеческих и нечеловеческих субъектов на одну единую платформу взаимодействия. Однако если мы можем изучать «инфраструктуру как этнографически легко схватываемое проявление / манифестацию»³ (Rodgers, O'Neill, 2012: 401), то можем ли мы сказать то же самое об удален-

¹ См., например: (Humphrey 2002; 2015; Kuklina, Holland 2018; Ssorin-Chaikov 2016; O'Neill 2012; Schweitzer, Povoroznyuk 2019).

² People work on things to work on each other, as these things work on them.

³ Infrastructure as an ethnographically graspable manifestation.

ности? Является ли удаленность тем феноменом, который легко схватывается этнографически?

Стоит признать, что, нащупывая линию аргументации для данного текста, я столкнулась с тем, что как таковая «удаленность» в сибирском контексте постоянно «прячется» за такими понятиями, как «неразвитость» / «отсталость» (и в темпоральном, и в экономическом измерении) (Ferguson 1994, 2012; Schweitzer, Povoroznyuk 2019), забвение / умолчание (Шенле 2018; Grundy-Warr, Sidaway 2006), «дикость» (Sæþórsdóttir et al. 2011; Marris 2013; Schweitzer, Povoroznyuk, 2017) / «природная чистота» (Tin, Summerson 2016). В своем исследовании я ставлю вопрос о том, каким образом игра с оттенками этих значений, их собирание в сложных сочетаниях или высвечивание основной линии, точки различения, «пересобирает» (Латур 2014) ландшафт: для повседневной жизни местных сообществ и (совсем иначе) для туристического взгляда. Являются ли кейсы, которые я опишу ниже, порождением этой игры интонаций и полутонов? Я предлагаю подход, который позволяет «выровнять» иерархизированное пространство, заданное определенной теоретической рамкой, в которой удаленность предстает в качестве синонима расстояния и социальной дистанции, показав, что *геометрическая метафора*, опирающаяся на евклидово пространство, не проясняет, а лишь затемняет антропологическую концептуализацию удаленности.

Анализируя различные подходы к удаленности как проклятию, праву и ресурсу, можно подметить, что исследования удаленности, как информационной, так и пространственной, инфраструктурной, уже несколько десятилетий вращаются вокруг оппозиций «возможность — западня», «ресурс — истощенность/нехватка». Эти интерпретации оказываются доминирующими, если мы принимаем во внимание исключительно точки зрения местных жителей, контролирующих органов, администраций разного уровня и министерств. Перед нами сложное физическое и социальное пространство, в котором гнездятся различные суверенности (Humphrey 2004), каждая из которых по-своему заинтересована в удаленности или пытается от нее избавиться, ее преодолеть.

Инфраструктурное насилие в сельской постсоветской Сибири

Тема отношений различных суверенностей прекрасно разработана в контексте концепции инфраструктурного насилия, но совершенно иначе осмысливается в исследованиях удаленности. И здесь моя задача — предложить ход, соединяющий насилие как воспроизводящую себя маргинализацию и форму насилия, связанную с состоянием исключения (Agamben 1998). Великолепная подборка статей под редакцией Д. Роджерса и Б. О'Нила

(Rogers, O'Neill 2012) имеет дело с урбанистической перспективой. Однако инфраструктурное насилие в городах и сельской местности существенно отличается. В данном случае прилагательное «городской» в сфере urban ethnographies отражает интенсивность связей и перенасыщенность социально-политического пространства (см.: Mbembe 2004; Smith 1996), которое подвергается анализу. В случае с сельскими инфраструктурами мы имеем дело не с перенасыщенностью, а с разрывами.

Поскольку инфраструктурное насилие является одним из путей концептуализации структурного насилия, здесь необходимо провести еще одно различие между городскими и сельскими исследованиями: структурное насилие, увязываемое в исследованиях урбанистов, социальных географов, антропологов с барьерами, неравенством доступа, структурированием пространств, сегрегацией кварталов, которые почти «врастают» в принципы городской архитектуры (Smith 1996; Castells 1979; Harvey 1985), находит совершенно иное воплощение в сельской местности, где социальное исключение создает не упорядоченность и разграничение, но хаотичность, непредсказуемость и разного рода пространственные слияния и смещения.

Это замечание отсылает нас к концепту неразличимости у Дж. Агамбена (1998), которое возникает в состоянии исключения. Чтобы понять, как неразличение работает в качестве *пассивного* инфраструктурного насилия¹, в отличие от насилия, проявленного в пространственной сегрегации городов в ходе реформ и планирования, необходимо обратиться к истории отдаленных западносибирских таежных и болотных ландшафтов, которые функционировали долгое время как место политической ссылки до революции и как зоны расселения спецпереселенцев в 1930–1940-е годы.

Рассматривая трагедию Колпашевского Яра, я предлагаю пересмотреть то различие между классическим тулаговским лагерем у Агамбена и сетью мест удержания и заключения, ризоматическим феноменом, который торжествует уже за счет страданий, наносимых человеку самой инфраструктурой перемещений и непрерывного состояния транзита (O'Neill 2012). Интрига и одновременно проблема моей этнографии заключается в том, что она сфокусирована на следах, развалинах, отметинах тех пространств исключения, которые сейчас являются пространствами жизни, памяти, образования, производства. Захоронения 1940-х годов — это, с одной стороны, «скрытое», утаиваемое государством: манифестация

¹ The socially harmful effects derive from infrastructure's limitations and omissions rather than its direct consequences (Rodgers, O'Neill 2012: 407)

«менее публичного способа политики, связанной с инфраструктурой, которая становится понятной только на фоне материальной истории борьбы» (Schnitzler 2012: 147). А. Шнитлер говорит о «борьбе с апартеидом», тогда как в моем случае это борьба не с репрессиями, но с забвением репрессий (см. также: Grundy-Warr, Sidaway, 2006). Продолжая эту логику, следует добавить, что захоронения (сохранившиеся и исчезнувшие из ландшафта) — это также «не-место», не только потому что оно ранее было зоной неразличения, лиминальным пространством (Agamben 1998: 174), но и потому, что в темпоральном срезе оно отсутствует в современности и появляется только как форма сопротивления забвению. Следуя этому аргументу, я также показываю важность обсуждения того, как *воображаются* руины и удаленность, в которую они помещены, учитывая не только вышеописанные теоретические традиции, но и проблему взгляда туриста (Urry 2002).

Воображая удаленность

Удаленность сезонно-изолированных поселков Парабельского, Александровского, Каргасокского, Кривошеинского районов — это феномен, проявивший себя особенно ярко после 1995 г., когда ключевые лесозаготовительные предприятия и рыбзаводы были разорены, приватизированы или закрыты и начался распад и дезинтеграция транспортных инфраструктур правобережья Оби. В период экономического расцвета 1950–1990-х годов прибрежные населенные пункты были связаны с региональным центром авиасообщением и через систему пассажирского и грузового речного флота. Потому привычное конструирование оторванности и удаленности как следствия экономической «недоразвитости» микрорегиона в данном случае не работает как интерпретация. Развитое и процветающее ранее, но затем разрушенное и руинизированное находит в удаленности новое измерение.

Для потерявших работу на предприятиях и в рыболовецких бригадах мужчин труднодоступность населенных пунктов не только для снабжения, но и с точки зрения инспекторских проверок (плохие дороги, редкое паромное сообщение и полная изоляция в период половодья) — это случай «права на удаленность» / right to remoteness (Schweitzer, Povoroznyuk 2019: 249) и возможность ускользнуть от пристального внимания государства — inattention from the state administration (Humphrey 2015: 2), нежели ограничения для сбыта пойманной рыбы.

Сибирские леса, подобно лесам Орегона, где разворачивается сбор грибов мацутаке, существуют в сети отсутствий и невидимостей, о которых пишет Анна Цзин: «Некоторые виды власти здесь есть, но их как бы

и нет; такая призрачность и есть начальная точка понимания этого воплощения свободы, состоящего из множеств культурных слоев» (Цзин 2017: 103). Для жизни старообрядцев-беспоповцев, создавших общину в тайге недалеко от советского лесозаготовительного поселка, удаленность как неотъемлемая часть жизненного мира в XXI в. в связи со старением населения общины (живущей в обете безбрачия и целомудрия) теперь является некоторым ограничением. Однако обеспечение верующих газовыми баллонами, свечами, продуктами питания, бензином осуществляется через связь с теми предпринимателями и рыбаками, которые нашли опору в своей автономии снабжения и способны, опираясь на ресурс удаленности, поддерживать другие жизненные стратегии.

Для жен рыбаков, работающих в школах, музеях, администрациях, изоляция, оторванность от дорог, быстрого интернета, культурных и образовательных учреждений столицы региона предстает также в двояком смысле. С одной стороны, это препятствие для детского образования, с другой стороны — удаленные поселки, малые города и села именно благодаря своей нехватке ресурсов и государственного финансирования на данный момент являются целевой аудиторией для программ поддержки — культурных индустрий, образовательных проектов, субсидирования, грантов. В этом смысле удаленность, соединенная с патерналистскими ожиданиями, ресурсна, но в ином смысле, нежели неподконтрольность и скрытость от внимания проверяющих рыбного промысла.

Пытаясь рассказать и визуализировать историю создания и разрушения инфраструктур в регионе, я показываю ее в форме спирали, восходящей от более ранних свидетельств о случайных экспедициях, постепенном картографировании местности, развитии торговли через периоды упадка к систематически поддерживающим развитие региона государственным программам. Скрытая ирония заключается в том, что локальные инициативы, использующие окружающий ландшафт, историю, сами транспортные разрывы как источник заработка, действуют по сценарию, совершенно противоположному государственному регулированию экономической ситуации в регионе. Именно периоды разрушения и упадка вдохновляют изобретательные умы на дополнительные заработки, открытие своего дела или повышение стоимости уже имеющихся услуг. Многолетние наблюдения за данным регионом позволяют мне предложить серию примеров, показывающих, каким образом руины, труднодоступность и заброшенность становятся *товаром* и в некоторых случаях даже *валютой* и *языком*, с помощью которого можно и объясняться с чиновничеством, и ускользать от его взгляда. Однако все эти дипломатии и переговоры вокруг удаленности не дают нам возможности ухватить то,

как продается удаленность приезжему (Ripra 2019), и то, насколько она может быть соблазнительна для кого-то.

Центральный аргумент, без которого невозможна постановка исследовательского вопроса, заключается в том, что между пространственной (физической¹) изоляцией и удаленностью и способами воображать удаленность и связность региона (Ardener 2007) и сообщества ярко проступает смысловой зазор. При различных попытках ресурсифицировать удаленность или, напротив, представить ее в качестве *отсутствия* ключевых ресурсов, этнографически очень четко проявляется эта противоречивая природа повседневности местных жителей и их ожиданий от туризма. Исходя из полевых наблюдений, я покажу, как понятие «туризм» постоянно переосмысливается, высмеивается, используется в саркастическом ключе. Чем является туризм на практике и почему он не очень-то торопится приживаться на Томской земле?

Фигура туриста, путешественника, его взгляд, создает дополнительное напряжение в этой ситуации, указывая на небинарность системы отношений с удаленностью. Моя интервенция нацелена как раз на этот момент, когда удаленность вместе с «дикой природой» тайги (см.: Bolotova 2014) и руинами советских производств начинают продавать, отложив переговоры о праве на удаленность и требованиями эту удаленность заменить на «связность». Продавать удаленность местным жителям и государственным учреждениям (отделы по туризму при администрации, краеведческие музеи) удастся очень по-разному (см. пример этнографии Лаоса в: Ripra 2019). Внезапно история места, которая поощряется к изучению краеведами и сохранению в залах музея, становится неудобной, а руины поселковых зданий дополняются картиной разоренных рекой захоронений.

Эти неудобные руины, появившиеся здесь именно потому, что удаленность была отличным ресурсом для политической ссылки, оказываются платьем голого короля. Все стремятся доказать, что король облачен в достойную одежду, а захоронения находятся глубоко под землей и давно смыты рекой, как и памятники в память о пострадавших. Здесь я делаю второй шаг и показываю, что концепция руинной порнографии (Lyons, 2018) недостаточно полно описывает взаимосвязь удаленности, руин на территориях, связанных с памятью о репрессиях. Обнаженность исторической правды — это не всегда эротизированное поле травмаскейпов

¹ Здесь хотелось бы обозначить удаленность не термином «физический», но термином «реальный», однако воздержусь, поскольку мой ход предполагает оспаривание буквальной оппозиции реального и воображаемого.

(traumascapes) или ландшафтов катастроф, отмеченных ранее пережитым страданием, которое делает руины желанными и соблазнительными. Критика руинной порнографии как интерпретации современных тенденций в искусстве, фотофиксации, туризме фокусируется на том, что происходит с дистанцией между наблюдателем и руиной: удерживается ли объект на дистанции (что ведет к ностальгической фетишизации руины) или же, максимально приближаясь к руине, изучая ее, взгляд становится порнографичным? (Pohl 2022). Именно этот важный поворот к дистанции позволяет мне соединить, таким образом, руинное порно с исследованиями удаленности (в которых дистанция имеет множество различных значений). На примере моей этнографии я показываю, что ресурсификация руин и удаленности происходит в местном контексте через игнорирование сложных сюжетов: мемориальный туризм перерастает в экологический.

Полевое исследование

Чтобы написать историю разрушения, нужно проследить за осколками многих сказов и двигаться между многими выделами

(Цзин 2017: 278).

Прежде чем представить кейсы характеризующие различные способы производства, восприятия, использования удаленности, борьбы с ней и ее возвращения, мне необходимо описать специфику этнографического исследования, проводившегося в прибрежных районах Оби в Томской области в 2017–2022 гг. Изучение транспортных и социальных инфраструктур в пределах и за пределами сельских населенных пунктов потребовало полевой работы во все сезоны года. Летние сезоны 2017, 2018, 2019, 2022 гг. в Александровском, Парабельском, Каргасокском, Кривошеинском районах Томской области позволили наблюдать за работой паромных переправ, рейсами КС, «Зари», маршрутных такси и частного автотранспорта, тогда как в зимний период (поле 2018, 2020 гг.) связь между теми же населенными пунктами лево- и правобережья Оби осуществлялась с помощью иных перевозчиков, транспортных средств и совершенно в другом ритме. Особое значение имеет исследование, проводившееся в период половодья (май 2018 г.), когда разлив местных рек не только создавал разрывы между берегами Оби, но и разделял сами деревни изнутри на две половины, требовал изготовления специальных самодельных транс-

портных средств для перевозки частного автотранспорта, а также способствовал дополнительному заработку владельцев лодок.

Включенное наблюдение предполагало постоянную смену ролей — помощь в парковке автомобилей на переполненные паромы в миллиметре от соседней машины, установка автомобиля на платформу за трактором для эвакуации над разлившейся по дороге рекой, работа в качестве водителя в периоды охоты на боровую птицу, участие в перевозке знакомых в райцентр в случае укуса клеща, выезды на ночной самоловный лов рыбы вместе с рыбаками, работа на рейде с рыбинспектором, выезды на лодке в райцентр для оформления документов и экспертных заключений после инспекторской проверки. Особенности функционирования сферы обеспечения транспортного движения, работы различных служб и министерств не только наблюдалась, но и обсуждалась с информантами, проводниками, знакомыми в постоянных неформальных беседах и интервью, многие из которых в контексте темы туризма и инфраструктур можно назвать «экспертными». Это интервью с капитанами паромов, мотористами-рулевыми, кассирами, водителями маршруток, капитанами и пассажирами «Зари» и костромичей, охотниками, рыбаками, фермерами, сотрудниками МВД и рыбинспекции.

Неизменно центральным лейтмотивом в разговорах, коротких перебранках, шутках была тема поломок и неопределенности. Внимание к таким моментам, речевым и бессловесным, составляет важную часть включенного наблюдения в моем случае. Через трудности, зачастую выразимыми только через мат и эмоциональные вздохи, можно увидеть зоны, «где масштабируемость бессильна и где возникают не поддающиеся масштабированию экологические и экономические отношения» (Цзин 2017: 64). Таким образом, для исследования практик туризма и нарративов, существующих вокруг него, мне пришлось настроить исследовательскую оптику таким образом, чтобы научиться «видеть» связь удаленности, испытаний и немасштабируемости (ландшафтов, продуктов и товаров, опыта, ностальгии, исторических сюжетов), в которой, возможно, и заключен секрет этой уникальной жизни на руинах советского.

Другой фокус исследования предполагал посещение музеев — краеведческих, школьных, при организациях, участие в экскурсиях, интервью с экскурсоводами и научными сотрудниками, просмотр музейных фотоархивов, изучение экспозиции. Особый интерес представляет также посещение прибрежных баз, созданных для отдыха на природе, рыбалки, экотуризма, лечебниц, расположенных на целебном источнике, а также этноцентров. С хозяевами баз и гостевых домов, лидерами этнических сообществ и ассоциаций, организаторами туров, занимавшимися приемом

не только российских, но и массовых иностранных групп были также проведены интервью.

Различные формы участия в жизни местных сообществ, и в качестве неумелого гостя в деревенском доме, и в качестве клиента отеля или пассажира парома, и в качестве водителя, сортировщицы рыбы на стрелковом заводе и даже больного, испытывающего на себе деревенские рецепты лечения согласно совету информантов, позволили не только через интерпретации, полученные в ходе бесед, но и через личный, во многом телесный опыт лишений, испытаний, проверок составить достаточно объемную картину, объединяющую различные способы обращения и работы с реальной и воображаемой удаленностью и нехваткой ресурсов в контексте повседневной жизни и туризма.

Было бы искусственным аналитически выделять тот или иной разговор, практику, ситуацию как наиболее говорящую, наполненную инсайтами о том, как проявляется удаленность и жизнь людей в данном контексте. Вышеописанные «роли» не были задуманы заранее, и их сила в полевом исследовании заключалась именно в спонтанности. Моя ли это была «исследовательская» спонтанность и импровизации? Или же навыки бриколажа (Леви-Стросс 1999) — это то, чему неизбежно обучаешься у местных жителей, исследуя жизнь на постсоветских руинах в условиях удаленности? Остается открытым вопрос, является ли «бриколерство», подпитываемое нехваткой ресурсов и изобретательностью местных жителей, феноменом, который на языке акторно-сетевой теории может быть включен в понятие «пересборка социального» (Латур 2014).

Ниже я покажу, каким образом «паттерн удаленности»¹ проявляется на пересечении различных полюсов, ресурсификации распада и руинирования, использования не столько памяти, сколько «способов забывать» для привлечения внимания, а также игрой между понятием дикости (см. подробнее о консервации и возрождении «дикости» / *rewilding*: Lorimer 2015; Schweitzer, Povoroznyuk 2017) и экологической чистоты «природы». Согласно аргументации К. Хамфри, «универсальный “пространственный порядок” (*spatial pattern*) концентрирует все линии власти, инфраструктуры и связи в направлении метрополии, что породило специфический “паттерн удаленности” в провинциальных регионах» (Humphrey 2015: 2). Тем не менее Хамфри предлагает отказаться от леви-строссовской структурной оппозиции между локальным порядком и иерархическим государственным порядком, и предлагает другой способ описания бурятского кейса в своем исследовании: это результат этнически специфического

¹ Pattern of remoteness.

способа обитания (inhabiting) и ориентации на внешние (external) пространства во вновь изолированных землях (Humphrey 2015: 2).

Эти «вновь изолированные земли» (Humphrey 2015: 2) и есть результат спиралевидного движения от освоенности к деградации, снова — к расцвету и связности, и вновь — к изоляции, забвению и руинированию на протяжении XIX–XXI вв. Здесь важно сделать акцент на слове «вновь»: в темпоральном срезе (Ssorin-Chaikov 2016) удаленность больше связана с руинизацией, нежели с состоянием неразвитости (underdeveloped condition), которое нужно преодолевать через освоение земель, «завоевание» природы (Bolotova 2014) и просвещение сообществ (подробнее о взгляде на «отсталость» в развитии коренных народов см.: Schweitzer, Povoroznyuk 2019: 239–240). Однако в моем случае специфический способ бытия (обитания / dwelling) (Ingold 2013) в подобных пространствах не ориентируется на внешние пространства и именно тем самым подтверждает идею о том, что иерархичность центрo-периферийных отношений здесь не работает.

Подобный способ жизни ориентирован на повышение ценности места для приезжих: ставка сделана на «соблазнение удаленностью» (remoteness lure). И здесь я использую именно понятие lure, имеющее также значение охотничьей приманки, заманивания зверя в лесной чаще. Это позволяет семантически увязать экологический туризм с его стремлением к нетронутой, дикой природе с теми формами сосуществования человеческих и нечеловеческих субъектов, которые лежат в основе экономической автономности «вновь изолированных земель» (Humphrey 2015: 2).

Производство удаленности и ее соблазн

Открытый билет — мешанина подобных побегов из города

(Цзин 2017: 103).

Посещение удаленных территорий — удовольствие, к которому существует безусловный, но «штучный» интерес. Несмотря на риски срывов сроков частных туров из-за размытых дорог, автомобильных поломок, непогоды, резких перепадов температуры и множества других причин, вплоть до запоя команды судна, местные поселки, к которым проложены асфальтированные дороги, построены мосты с круглогодичным сообщением через Обь, потеряли бы большую часть своей привлекательности для посетителей. Противоречие, которые, говоря о перспективах заработка на туризме, непременно отмечали мои собеседники, заключается в том,

что «продавая ***ня, надо помнить, что тебе еще и жить в них!» Это означает не только невероятно трудное снабжение, продукты на вес золота и отсутствие лекарств — большая часть населенных пунктов правобережья Оби снабжается от дизельных электростанций и частных дизельных электрогенераторов, поскольку централизованная ветка электропередач не прокинута на этих территориях.

Говоря об отношении к туризму местных жителей, я не могу не отметить, что в этом вопросе местные сообщества проявляют разобщенность, коренящуюся в разных замыслах и ожиданиях от возможности получить хоть какую-то прибыль. Одни предприниматели концентрируются на том, чтобы организовать логистику перевозок туристов и путешественников на комфортабельных автобусах и микроавтобусах из региональных центров — Томска, Новосибирска, Ханты-Мансийска, Сургута, Омска, Кемерово. Не всегда эксплуатационные условия и дороги микрорегиона позволяют начать и завершить поездку на одном и том же транспорте: поломки ходовой части неизбежны. В альянсе с другими предпринимателями они поддерживают систему СТО и придорожных автосервисов, заключают договоры о питании и размещении в трактирах вдоль маршрута следования и тем самым поддерживают малый бизнес на территориях, которые являются транзитными и целевыми для посещения.

Более замысловатая работа осуществляется теми партнерами и предпринимателями, которые имеют доступ к региональному и муниципальному ресурсу. Для ремонта дорожного полотна или моста на федеральной или региональной трассе нужно пройти множество инстанций и согласований. Преимущество же трасс местного значения и грунтовых дорог в том, что, несмотря на нехватку финансирования, бюрократических препятствий для их улучшения заметно меньше.

Все вышеперечисленные обстоятельства создают курьезные ситуации и неожиданные контрасты: при наличии грунтового покрытия участков на трассе Парабель — Каргасок асфальтированная дорога, ровная как стекло, была положена на отрезке дороги от Малого Нестерова до этнопарка «Чумэл чвэч» — реконструкции сельского поселения на берегу Оськина озера¹. Почти ежегодно на Оськинском озере проходит этнофестиваль, на который съезжаются множество индивидуальных туристов, семей с детьми, экскурсионных групп, групп школьников и студентов. Музей под открытым небом наводняют ансамбли и представители общин и ассоциаций представителей коренного населения Сибири — селькупы,

¹ URL: https://vk.com/video-191682668_456239444 (дата обращения: 24.01.2024).

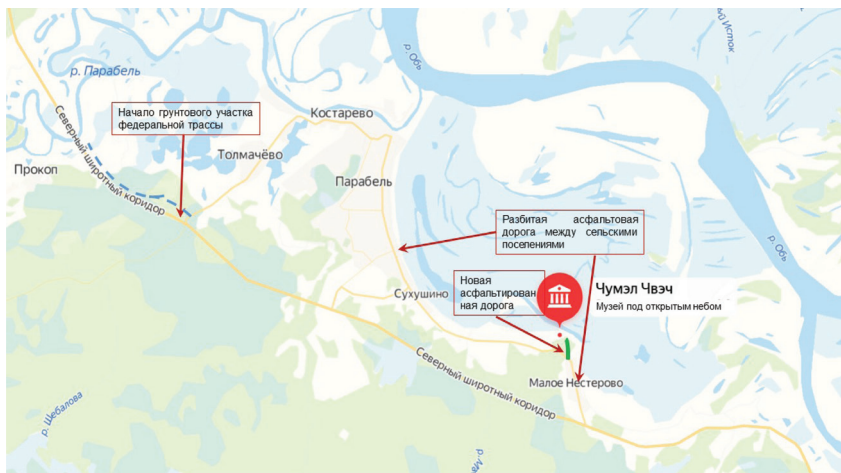


Рис. 1. Схема расположения и типа покрытия дорог и трасс федерального и местного значения с указанием асфальтированной дороги в «Музей под открытым небом Чумэл чвэч»

таежные ханты, ненцы, манси. Основные лейтмотивы как фестиваля, так и проекта создания музея под открытым небом — тесная связь между природой, локальной экосистемой и промыслами, укорененными в культуре селькупов — рыбная ловля, сбор дикоросов, охота.

Данный «узел» значений дает лишь один из примеров того, как различные виды и цели туризма смешиваются, а объект посещения оказывается ориентирован на совершенно разные аудитории: экотуризм и природный туризм здесь сочетаются с событийным и, в более узком смысле, гастрономическим, а центральная тема этнографического наследия связана с природным и историческим, фольклорным и искусствоведческими компонентами. Учитывая акцент на аутентичности жилых и хозяйственных построек, чрезвычайно любопытным и выбивающимся из концепции представляется асфальтированная дорога, подходящая близко к селькупским постройкам.

Однако в то время, как на одном участке трассы асфальт укладывают посреди бездорожья, на грунтовом участке федеральной трассы в весенний период один из местных жителей решил подзаработать на бездорожье. Согласно свидетельствам информантов из с. Парабель и с. Каргасок — предпринимателям, экологам, специалистам по паромным и автоперевозкам, в очередную весну грунтовая трасса была на удивление хорошо проходима и не слишком сильно размыта. В предыдущие годы из-за



Рис. 2. Асфальтовая дорога к этноцентру. Кадр из фильма 2022 г. «Музей под открытым небом Чумэл чвэч глазами бабы Яги». Баба Яга на самокате едет ко входу в музей по идеально ровному асфальтовому покрытию

проходящих под трассой ручьев, а также на участках, окруженных болотинами, на дороге образовывались непроезжие участки, на которых колеи разъездили в несколько сот метров или километр, легковые машины и даже полноприводные джипы увязали в смеси глины и намокшего песка. На этом участке работал тракторист, за плату вызволявший автомобили из грязевого плена. Весна, прошедшая почти без дождей, сохранила дорогу в более сносном состоянии, и большинству машин не требовался этот «сервис». Тогда тракторист пригнал бочку с водой на прицепе и начал поливать водой особенно рискованные участки, чтобы его услуги вновь стали нужны как местным жителям, так и туристам, командировочным. Затея была пресечена на корню менее чем через час: новость разнеслась по округе, и местные мужчины из обоих населенных пунктов приехали, чтобы остановить разрушение и без того худого дорожного полотна.

Менее резонансные и заметные попытки использовать поломки инфраструктуры и эффекты удаленности в своих целях отмечали охотники, добирающиеся до заимок и охотничьих угодий по лесным таежным дорогам в Тегульдетском и Белоярском районах Томской области. Так, на одном участке грунтовой дороги, проходящей по небольшой насыпной дамбе, проехать вброд болотистый ручей не представляется возможным.

Деревянный мост на этом пути чрезвычайно узкий. Местные мальчишки придумали вынимать 2–3 доски по центру моста, без которых автомобиль легко рискует провалиться под настил. Когда джипы охотников в недоумении останавливались перед мостом, мальчишки выбегали из засады с досками и молотком, предлагая за небольшую плату устранить преграду на пути за пять минут.

Таким образом, становится очевидным различие между «прибыльной поломкой» транспортной инфраструктуры, на которой можно заработать случайные легкие деньги, и бренда «затерянной в таежных лесах деревни» с историческим прошлым и интересной этнической компонентой. Однако можем ли мы сказать, что легкость «воспроизводства» удаленности (Krsteva et al. 2022)¹, ее постоянное присутствие, создает не только ограничения для «сотрудничества и взаимосвязи, но и открывает пространства для творчества локализованных групп населения, зависящих от географии» (Kuklina, Holland 2018: 38; см. также: Ardener 2007: 527). Является ли идея с размытием дороги и изъятими досками своеобразным творчеством местного населения?

В первом случае удаленность принимает облик труднодоступности. Преодолевая ее тактически, можно получить плату за работу; преодолевая стратегически — привлечь внимание региональных и местных властей к проблеме для получения финансирования, субсидий или грантовой поддержки. Однако эта стратегия всегда должна оставаться лишь потенциальной возможностью: устранив удаленность и починив дорогу, теряешь аргумент, к которому можно прибегать в разных случаях, ожидая государственной поддержки на основе совокупности патерналистских ожиданий (см. о значимости дороги как инфраструктурного и социального феномена в: Harvey, Knox 2015).

Во втором случае труднодоступность и удаленность являются важным элементом испытания путешественника, который стремится достигнуть заповедной территории. Испытание разворачивается в большей степени в пути, чем на месте. Испытание самой дорогой и поломками, трудностями на этом пути рассмотрено Сергеем Моховым (2017: 206) в контексте вызовов, которые встают перед родственниками умершего. Он также рассматривает и рефлексию исследователя о происходящем в «поле»,

¹ По мнению А. Кузнецова, подвергающего ревизии латурианский подход к пространству и инфраструктурам, «удаленные места и сущности не могут быть мобилизованы в той же самой форме, в которой застал их путешествующий агонист, а должны быть трансформированы. Невозможно привезти с собой горы, но их можно картографировать» (Кузнецов 2016: 44).

указывая на то, что «процесс борьбы с материальной средой настолько тотален, что он буквально становится онтологией» (Мохов 2017: 190). В моем же исследовании дорога оказывается не вопросом грамотной логистики, но своеобразной частью индустрии впечатлений в рамках индивидуального туризма. Логическая связка, поддерживающая восприятие удаленности как желанного и глубокого опыта для приезжих, подводит нас к образу руины, полуразрушенности — архитектурных строений, узкоколеек, сети портов и аэропортов и других знаков распада. В следующем разделе я задаю вопрос о том, как связаны удаленность и руины и почему то, что конструируется как «удаленное», ассоциируется с руинами. Задача — найти точки интервенции в эту дискуссии, которая за последние десятилетия сделала связь удаленности и руинизации банальной и очевидной. Делая акцент на сельской местности в Сибири, я также интересуюсь специфическим режимом, в котором «работают» сельские руины по сравнению с руинами городскими.

Руины как ресурс

Ландшафты ныне усеяны подобными развалинами по всему свету. А такие места тем не менее могут быть живы, невзирая на их объявленную смерть: заброшенные источники ресурсов иногда порождают новую многовидовую и многокультурную жизнь. Во всепланетарном состоянии неустойчивости у нас нет другого выбора — нам необходимо высматривать жизнь на руинах

(Цзин 2017: 21).

Руины как объект осмотра, которые могут привлечь заезжего туриста, сбивают с толку. Не руины, но руинизация, в которой в равной степени участвуют люди, размывающие дорогу, подростки, выламывающие доски на мосту, тайга, захватывающая остовы зданий в заброшенных поселках обратно в свою нишу природной «дикости», туристические операторы, использующие эстетику руин для оформления своих буклетов и сайтов — все эти живые непрекращающиеся процессы интересуют меня в данном исследовании. Иными словами, я предлагаю сделать акцент на процессуальном характере руинизации (см.: Stoler 2013), а не на материальности руин и их политическом и символическом значении, особенно в контексте изучения удаленности.

Перед нами лесозаготовительные поселки времен распада СССР. После 1995 г. даже самые стойкие ранее приватизированные предприятия были разорены: узкоколейки, соединявшие сеть складов, баз, поселков, общей численностью населения в период расцвета около 23 000 человек (ПМА 2017), были разобраны и сданы как чермет. Топонимика сохранила следы жизни, бурлившей здесь, в тайге, в домах культуры, школах, клубах: «25 километр», «Новый склад»... Кладбища оказались самыми устойчивыми к зарастанию: за некоторыми могилами по-прежнему ухаживают, тогда как дома практически не видны из подо мха, кустарников и выюна, опутавшего ветхие стены.

Природа «потребляет» и «востребует» здания бывших леспромхозов, аэропортов, причалов, точнее, их руины или то, что станет руинами в процессе действия природных сил. Это происходит подобно тому, как описывают Модлин и Веллинга потребление пространства и «созданной» (built) среды человеком в контексте потребления архитектуры (Maudlin, Vellinga 2014). Они отмечают, что присвоение (appropriation) можно определить как серию актов сопротивления тому порядку, который репрезентирован созданной вокруг нас архитектурной средой. Авторы подчеркивают, что в политическом измерении «присвоение» и «потребление» архитектуры и зданий, пространства в целом — это способ сделать свои голоса услышанными. Развивая эту линию далее, учитывая сельский постсоветский контекст моего исследования, удаленность, руинированность былой жизни, я предлагаю посмотреть на возможность нечеловеческих субъектов проявить свой голос.

Дезинтеграция рукотворного — это лишь частный случай, действия, усиления, проявления «голоса» природных акторов. В этом разделе я хочу рассмотреть две истории, в которых главные действующие лица — нечеловеческие сущности — река, берег и почва под руинами колхозов на правом берегу Оби. В лесах Орегона главными действующими лицами являются деревья и грибы, о которых Анна Цзин пишет, что, «колонизируя возмущенные ландшафты, мацутакэ и сосны вместе творят историю и показывают нам, как творение истории происходит за пределами того, что делают люди» (Цзин 2017: 221). В моем случае река и почва раскрывают для людей неочевидные источники прибыли, которые возможны только благодаря процессам распада и руинирования прошлого в одном случае и делают видимыми скрытые слои в истории страны — в другом.

Выше я обращалась к таким понятиям, как «населять», «обитать», «быть», «находиться», «потреблять пространство». Безусловно, оппозиция природного и «построенного» (built) может быть преодолена благодаря перспективе обитания (dwelling perspective) Тима Ингольда (Ingold 2000;

2013), но, как правило, эта оптика используется для тех кейсов и этнографических/исторических примеров, в которых речь идет о становлении антропогенной среды (built environment) и ее диалоге с ландшафтом и природной средой. Я же предлагаю в своей статье посмотреть на то, как в процессе руинирования (а не строительства и развития) эта оппозиция преодолевается не аналитически, а через реальные формы жизни человеческих и нечеловеческих субъектов. В контексте этнографии практик туризма невозможно не обратить внимание на постоянное различие, которое приходится делать для описания способов обитания (dwelling) и погружения в среду, с одной стороны, для местных жителей и, с другой стороны, приезжих, которые пользуются теми же дорогами, причалами, ночуют в избушках и гостиницах, используют водопровод и электричество от дизельных генераторов. Фактически то, к чему стремится турист, соблазненный образом удаленных, труднодоступных руин, расположенных в богатой, экологически чистой тайге, весь опыт и нахождения на месте — это не совсем опыт «обитания» (вселения) / dwelling, поскольку оно длится недостаточно долго, чтобы приезжий мог совершить какую-то значимую интервенцию, произвести изменение в окружающей его среде и ландшафте и в самом себе.

Более того, мне импонирует критическое отношение к понятию инфраструктура и осторожность его употребления в статье (Schweitzer, Rovozoznyuk, Schiesser 2017), в которой авторы цитируют пассаж Карс об опасности «отрицать корень “инфра” в понятии “инфраструктура»» (Carse 2017: 35). Для нашего анализа это очень важное замечание. Если «инфра» в термине инфраструктура означает «подлежащее» или фундирующую совокупность феноменов и структур, которые определяют существование системы, то мы также можем присмотреться и увидеть оттенок «невидимости» или «скрытости» в данном понятии (подобно инфразвуку и инфракрасному излучению, которые излучаются на частотах, недоступных человеческому уху или глазу, — слышимые и невидимые).

Может показаться странным утверждать, что инфраструктуры сами по себе невидимы, но можно предложить аргумент, что их социальные и другие эффекты не видны или недостаточно проявлены. Они скрыты. Но что есть руинирование как не процесс обнажения скрытого и раскрытия невидимого? В некотором смысле получается, что руинированные инфраструктуры оказываются более ясными и прозрачными для понимания и сосуществования, даже партнерства. Более того, это может быть использовано не только социальными исследователями, но и членами местных сообществ, которые эту обнаженность воспринимают как источник вдохновения, для того чтобы изобретать новые и новые способы

использования для жизни и выживания элементов разрушающихся инфраструктур. Возможно, это именно тот творческий импульс, о котором писали Вера Куклин и Эдуард Холланд (2018), говоря о том, как удаленность порождает не только изоляцию, но и творчество, в том числе опирающееся на смекалку, присущую состоянию нехватки.

Распад и руины: «навоз на миллион»

Компостирование предлагает этику возвращения или, по крайней мере, регулярного обращения назад. Прошлое обращается внутрь и под землю, чтобы культивировать среду, насыщенную материей и обладающую потенциалом для трансформационных отношений

(Langwick 2018: 432).

На пути федеральной трассы, проходящей по левому берегу Оби, путь автомобилистам преграждала небольшая река шириной 150–200 м. Без парома на севера не попасть. До конца 1990-х годов несколько паромов переправляли грузы, людей и транспорт с одного берега на другой. Один из предпринимателей, владевший паромом, сообразил, что расход топлива буде снижен, если пустить паром на тресе, поскольку река узкая. Расходы на солярку сократились, и ему уже не нужно было ожидать полной загрузки, чтобы осуществить рейс. Работавший по требованию паром стал быстро популярен среди командированных и местных жителей. Когда же на пароме установили холодильник с мороженым и пивом, отбоя от желающих не было: даже местные жители приходили на переправу, чтобы узнать последние новости и пообщаться. Другие перевозчики были практически забыты, их суда стояли на приколе. Триумф легендарного парома длился не долго. В 1997 г. было решено строить мост через реку. Подрядчики не могли обойтись без помощи перевозчика для транспортировки техники и материалов между берегами, и потому обратились к владельцу парома. «Я решил, что раз все равно все это закроется скоро, выжму последнее с них!» — вспоминает предприниматель (ПМА 2019). Его паром начал курсировать усиленно, перевозя, помимо пассажиров, грузы для строительства моста. Фактически паром работал в течение трех лет над своим уничтожением: когда мост был триумфально открыт в 2000 г., время парома безвозвратно ушло¹.

¹ Подробнее об истории «смерти» парома и убийственной силе нового моста см.: (Рахманова 2023: 200–208).

Клуб вокруг продажи пива и мороженого, вечерние посиделки у причала, многие социальные явления, а не только прибыль предпринимателя исчезли, растворились тогда, когда федеральная трасса преодолела изоляцию и продемонстрировала связанность берегов. Удаленность была забыта, но вместе с ней ушло много практик, которые составляли огромную ценность не только для местных жителей, но и для туристов: ожидание парома, созерцание реки, общение с местными жителями, передышка на пути по трассе, наслаждение прохладными напитками в тени навеса.

Владелец парома не стал унывать. Если ландшафт, который кормил, изменился, стоит поискать другие ресурсы ландшафта или же другой ландшафт. Выбрав судно с большой погрузочной платформой, он обследовал почвы и территории заброшенных поселений и колхозов на правом берегу Оби. Там давно уже никто не жил, остовы зданий обозначали места ферм, загонов, коровников. Единственное, что не являлось руинами в прямом значении этого слова, — почвы¹, богатые перегноем и унавоженные поколениями крупного рогатого скота. Эта земля оказалась невероятно востребованным товаром на другом берегу: перегной раскупали, заказывали КАМАЗами для удобрения скудных почв, не восстановившихся от антропогенной и аграрной нагрузки. Собеседник показал мне журнал записи, который в июле был заполнен на поставки перегноя вплоть до конца сентября (ПМА 2019). «Золотой навоз» — это не просто метафора того, каким образом руины и следы прошлой жизни обретают особую ценность.

Стейси Лэнгвик (2018) отмечает, что растения, возвращаемые на удобренную почву или компосте, «не являются (или не только) антитоварами (см.: Scott 2009), даже если они сопротивляются формам политики, возможным благодаря стабильным траекториям товаризации (commodification)» (Langwick 2018: 434). Обращение к перегною как к ресурсу, который, чем больше проходит времени и чем дальше дома и сараи превращаются в пыль, становится все более «выдержанным» и качественным, является скрытой практикой сопротивления, которая в том числе реагирует на исчезновение удаленности там, где она играла существенную роль. Это также означает ставку в области бизнеса перевозчика не на туризм и поток приезжих, а на укрепление независимого от крупных сетевиков снабжения с помощью речного транспорта именно местного сообщества.

В этой истории о «золотом навозе», в самом интервью про историю двух паромов, на одном из которых люди пили пиво, а на другом пере-

¹ Видится актуальным применение к данному кейсу термина «рекрементальные» практики работы с «отходами», разработанного Т. Щепанской (2017).

возили перегной, очень много юмора и сарказма, и это не случайно. Токсичная, скрытая под землей природа навоза, который полезен и является грязным/нечистым, вызывает смех, равно как и самоиронию бизнесмена по поводу его успеха. Когда в полевом исследовании появляются важные нечеловеческие акторы, стратегия этнографа становится максимально мозаичной и обращает внимание на то, что, казалось, не может быть «полевым материалом»: «Чтобы рассказывать истории ландшафта, необходимо разобраться в его обитателях — и не только человеческих. Это непросто и потому полезно, как мне кажется, применять все методы изучения, какие только приходят в голову, в том числе объединенные подходы созерцания, мифы и байки, способы выживания, архивы, научные статьи и эксперименты» (Цзин 2017: 205). Неслучайно байка про навоз выросла в целое интервью, а история паромы 20-летней давности была преподнесена в жанре легенды. Усмешка и переформатирование историй успеха в бизнесе, пожалуй, связаны с попыткой преодолеть стигматизацию при работе с удаленностью и руинами, поскольку «токсичность социальная (как в случае со стигмой) и энвайроментальна (как в случае с химическими удобрениями)» (Langwick 2018: 434).

Если выше я делала акцент на пространственном измерении удаленности, изоляции и попытки сохранить автономию в селе, куда поставлялся перегной, то пришло время обратить внимание на темпоральное измерение процессов распада, гниения, руинирования и в целом свойств и природы компоста. Обращение к руинам и перегною возвращает к истории сообществ, много раз переселенных, переживших укрупнения поселений. Оно преодолевает разрывы между исчезнувшим или скрытым под землей и продолжающим жить: «Компост — это то, что способствует процессу проживания (living-through). Он обращает наше внимание на способность оставленных частей прошлого, остатков и отбросов трансформироваться через определенные переплетения в нечто иное, чем они сами и, если за ними тщательно ухаживать, превращаться в компоненты богатой здоровой почвы, переплетения, которые служат основой для роста и другой жизни. Компост “вспоминает” (re-members) и тем самым “децентрализует” работу кризиса и его форм забывания» (Langwick 2018: 431).

Этот логический ход ведет нас от руин и пространственной изоляции к буквальным эффектам перегноя, которые имеют социальное измерение и измерение экологическое, укорененное в материальности почв, грязи, гниения и самой жизни. Это распад, который становится отправной точкой возрождения: «В современном мире мы умеем препятствовать возрождению. Однако это вряд ли убедительная причина не замечать его

возможностей» (Цзин 2017: 231). И все же этой «правдой перегноя», обнажая и выкапывая его слоями из земли, не привлечь туриста: едва ли он сможет распознать «историю» края в этом неординарном способе обращаться к памяти через распад. Однако обосновать мой аргумент позволит второй пример, где почва берега, его внутренняя скрытая структура, а также река играют роль в создании пространства воспоминания, которое сегодня мемориализовано в память о произошедшей трагедии.

Колпашевский яр — между распадом и забвением

Возмущение открывает пространство преобразующих соприкосновений, дает возможность возникнуть новым ландшафтными ассамбляжам

(Цзин 2017: 207).

Колпашевский яр — крутой берег, находящийся в месте, где река Обь делает крутой поворот. Стрежь сильным потоком «бьет» в берег под углом день за днем. Каждый год происходят обрушения берега, иногда настолько масштабные, что под воду уходит целая улица и дома сползают в реку. 30 апреля 1979 г. часть линии берега обрушилась, обнажив многочисленное захоронение людей, расстрелянных в 1937 г. и позднее. Благодаря независимым издательствам и радио об этом событии стало известно в тот же день. Между тем местные жители несколько дней наблюдали за происходящим, пока местная администрация по указанию сверху не попыталось «устранить следы», сделать насильственную смерть невидимой, предать забвению. То, что находилось настолько глубоко под землей, что могло бы хотя бы исходя из «геологической» оптики государства считаться неживым (Povinelli 2016), вдруг оказалось «живым» в контексте политик памяти. Яр — своего рода «вертикальная территория» (Мамонтова 2021), дающая опору критике исследованию социального ландшафта как ландшафта поверхности / surface.

Масштабы захоронения были так велики, что произвести захоронение всех останков рядом с Колпашево было невозможно в короткие сроки, в то время как скандал назревал в стране и за ее пределами. Два буксиродвухтысячника¹ подогнали к месту обвала кормой и включили винты на полную мощность (ПМА 2019). Струи воды вымывали трупы и останки из берега и уносили по реке, часть из них попадала под винты, часть двигалась вниз по течению.

¹ Буксир ОТ-2010.



Рис. 3. Виталий Бримерберг возле импровизированного памятника жертвам колпашевской трагедии. Фото 1996 г.

Источник: Мартиролог — Бримерберг Петр Христофорович — Мемориальный Музей (<https://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/brimerberg--petr--hristoforovich/>)

Река, обнажившая историческую правду мощью водных потоков, стала также инструментом государства для разрушения следов и свидетельств преступлений. Благодаря экспедиции общества «Мемориал», собравшей устные свидетельства о колпашевской трагедии¹, удалось сохранить частицы обнаженной истории, тогда как ландшафт уже не хранил никаких свидетельств (см. также открытое письмо /Фаст 1990/ и монографию В. Запещкого /1990/). В 1990-е годы существовал уникальный памятник колпашевской трагедии — сын Петра Бримерберга Виталий приколол к стволу дерева на берегу скелет из жести (рис. 3). Через несколько лет берег вновь осыпался, и река унесла течением и ствол дерева, и памятник.

¹ URL: https://nkvd.tomsk.ru/researches/history_investigation/kolpashevskiyar/ (дата обращения: 24.01.2024).

Во всех трех сюжетах — обнажение скрытого захоронения, использование реки как инструмента для уничтожения следов истории, влияние речного течения на уничтожение памятника, поставленного сыном погибшего, — река не просто агентна, но создает новое пространство репрезентации (Lefebvre 1991). Эти формы ландшафта, промоина клином в линии берега не просто создают время и место, чтобы помнить, но помещают людей в ситуацию необходимости помнить о событии определенным образом. В данном случае мы видим страшный перевертыш похоронной традиции: не «похороны без покойника» (Соколова 2011), но покойник без похорон.

Разрушение берега — это и руинирование, и одновременно обнажение исторических событий, то, что Анна Цзин называет «зачином истории», который рождается из возмущения среды: «Возмущения следуют одно за другим. Поэтому любой ландшафт — возмущенный, а возмущение — обыденно» (Цзин 2017: 207–208). В данной логике роль нечеловеческих акторов в процессе активизации историчности как модальности жизни дополняет идею Стэша о том, как через ландшафт местные жители помещают себя в историю: «Их действия в истории укоренены в таких пространствах, как “лес” и “деревня”, и именно через такие пространства они проживают свое состояние пребывания в исторической ситуации» (Stasch 2013: 567).

Чтобы этнографически подступиться к обсуждению сюжета Колпашевского яра в районном центре Колпашево, где мне для наблюдения доступны только современные практики повседневной жизни, логистики паромных перевозок, воспоминаний старожилов и подготовленных заранее рассказов музейных экскурсоводов, нужно соотносить этот пласт реальности с исследованиями биополитических режимов, насилия, «голой жизни» (bare life) в различного типа внеюрисдикционных (extra-judicial) пространствах: лагерях, территориях спецкомендатур, лагерях беженцев, мест специального заключения. Колпашево и другие зоны расселения на правом берегу Оби (Назино, Нарым и многие другие) были не просто местом заключения и способом удержания людей на ограниченной территории в тяжелейших природно-климатических условиях. Сотни смертей происходили в дороге до места ссылки / спецкомендатуры. Сам транзит был уже убийственен для многих.

И в этом смысле концепция спецпереселенческих зон похожа на сеть «невидимых» мест румынских лагерей, о котором пишет О’Нилл (2012), развивая и комментируя концепт лагеря у Агамбена (1998). Однако в случае Западной Сибири эти поселения не были совершенно скрытой сетью: рядом находились местные юрты, избышки, деревни селькупов, хантов —

пространство было не интенсивно, но все же освоено. Таким образом, спецкомендатуры нельзя назвать «не-местом» / non-place (Auge 2009) в период развития этих поселений, как и не являлись ими захоронения и братские могилы возле здания НКВД. Однако можно утверждать, что именно в момент, когда захоронения, останки, тела были обнажены течением реки из-под скрывающих их почв, попытка «смыть» следы трагедии той же самой водой, которая вызвала из забвения на поверхность историческую правду — само захоронение, а также весь ландшафт поселения в период, когда оно функционировала именно как спецкомендатура, оказались не-местами из-за исторической, временной дистанции.

Колпашево и поселки вокруг него можно и сегодня считать сезонно-изолированными и удаленными. Удаленность есть сейчас, ее ощущают местные жители, неизбежно сталкиваясь с проблемой транспортной доступности (ПМА 2018, 2019). Удаленность была и 1930–1940е годы. Она не обсуждалась с точки зрения «воображения», а изначально была фактором выбора мест поселений. Две удаленности накладываются здесь друг на друга. Захоронение становится не-местом не потому, что является идеальной воображаемой *remote area* (Ardener 2007), а потому, что современные формы жизни, разворачивающиеся в той же точки географического пространства, опираются на другие источники и артикуляции этой удаленности. От местных жителей, специалистов-исследователей, краеведов память о трагедии, насильственных смертях также «удалена» не только темпорально и географически, но и в том смысле, о котором пишет Ханна Арендт, говоря, что банальность зла оказывается «не подпадающей слову и мысли» / «сопротивляющейся слову и мысли» (Arendt 1992: 252). Именно в данном случае единственный, кто может «говорить» / высказываться, не подбирая слова, — это река. И она обнажает захоронения, она говорит, действуя.

Когда пространство проявляет себя через значимые разрывы (определяющие удаленность и ее преодолевающие) и ландшафты обретают голос (как, например, в случае агентности реки или богатых почв), вопрос о времени оказывается неразрывно связан с идентичностью местных жителей через малые и большие исторические события, через память и то, как память и забвение могут провоцировать или истощать интерес туристов. Пространственно-временной характер руинизации и удаленности подводит меня неизбежно к понятию гетеротопии Мишеля Фуко. С точки зрения темпорального аргумента «гетеротопии чаще всего связаны с раскромом времени...; гетеротопия начинает функционировать, когда люди оказываются в своего рода полном разрыве с их традиционным временем» (Фуко 2006: 200).

Главная ценность этого понятия для моего исследования жизни и туризма в контексте удаленности и руин заключается в том, что гетеротопии здесь удвоены и вложены друг в друга. Во введении я говорила о важности способов воображать удаленность, в отличие от практик ее проживания. Для приезжих и тех, кто не планирует посещать удаленные уголки сибирской тайги (а также для тех, кто организовывал перемещение спецпереселенцев, выбирая прибрежные районы Оби), это то «нигде», куда стоит отправиться, чтобы пережить испытание, либо отправить в это «нигде», в пространство исключения, других людей. Однако «изнутри» пространства, определяемого извне как желанная или ужасающая гетеротопия, становится видна многозначность использования и сотрудничества с изоляцией, удаленностью, руинами и продуктами распада через избрательные практики, поддерживаемые смекалкой местных жителей. На реке, возле обрыва с захоронениями, на развалинах фермы или пароме с мороженым гетеротопии проявляют себя совершенно неожиданным образом на стыке видимого и невидимого.

Массовое захоронение расстрелянных людей на Колпашевском яре — это уже не кладбище Фуко, которое связано с городом и его иерархиями. Это оборотная сторона гетеротопии, которая, будучи скрыта, была лишена социального измерения. Однако, когда оно было раскрыто, она оказалась контрпространством даже по отношению к традиционному кладбищу, нарушая его законы идентификации и индивидуализации. Интересно, что Колпашевский краеведческий музей не поднимает тему трагедии на яру, однако в его постоянной экспозиции присутствует раздел «Работа реки», где запечатлен яр еще до обрушения. Исключая одни события, уделяя внимание другим, «музеи и библиотеки являются гетеротопиями, преследующими идею образовать место всех времен, которое само бы находилось вне времени и было бы неуязвимо для его укулов» (Фуко 2006: 201).

Заключение

Рассмотрев три совершенно различных истории, я предлагаю посмотреть, как они помогают нам понять уникальный способ, которым связываются феномены удаленности, руинизации, дистанцирования и забвения, а также влечения и дистанции по отношению к травмирующему и страшному прошлому. Важно добавить, что все эти процессы подчеркивают агентность различных элементов инфраструктуры, которые действуют и высказываются (проявляют свой голос) совершенно по-разному. Мост является посланником государства, призванным завершить эру удаленности и объявить торжество связности и развития для местных сооб-

ществ¹. Перегной делал и делает свою молчаливую, незаметную для «поверхностных» исследований (surface ethnography) работу. Его способ производить жизнь из распада и руинизации противопоставлен контр-примеру работы почв на другом участке Приобья, где замедления процессов распада и русловые процессы позволили сохранить хоть отчасти материальные свидетельства исторической правды.

Складывается ли в переплетении этих трагических и ироничных историй единый «паттерн удаленности», характерный для местных сообществ, с представителями которых я имела счастье беседовать, путешествовать и трудиться вместе? Едва ли. Утраченная из-за моста удаленность, на смену которой пришла связанность и принесла в село запах асфальта, лишая место аутентичности, отличается от той пространственной изоляции и удаленности, которую не искали (как приключение или испытание), но которой страшились переселенные на берега Оби в 1941–1942 гг. люди. При этом есть и другой пример, когда удаленность «вновь изолированных» (Humphrey 2015: 2) неперспективных деревень и колхозов правобережья, в полном забвении разрушающихся строений, оказалась, напротив, источником жизни, плодородия и созревания почв, которые могли сформироваться только вне человеческого присутствия. Все эти размышления дополняются идеей об удаленности не в пространстве, но во времени, которую питает политика памяти определенного толка и которая приводит общество к забвению событий, вычеркнутых из истории сообщества.

Если перейти к тому, что притягивает посетителей и создает этот вышеупомянутый соблазн удаленности (the lure of remoteness), то в регионе память о трагедии переплетена с опытом испытания во время путешествия — опытом преодоления водной преграды. Потому история с паромом, бывшим точкой притяжения и туристов, и местных жителей, как классическая гетеротопия судна является «хранилищем воображения»: «В цивилизациях без кораблей иссякают грезы, шпионаж заменяет приключения, а полиция — корсаров» (Фуко 2006: 204).

Ландшафт и способы проживать (living-through) совместно с ландшафтом в этом регионе Томской области между лево- и правобережьем Оби обнажают двойственность роли удаленности и руин для посетителей и жителей региона. В центре находится осмысление трагедии спецпереселенцев и места ссылки, которое до сих пор дает о себе знать, проявляясь в серии взаимовложенных гетеротопий — максимально приземленных,

¹ См. об адаптации к подобным условиям в сельской местности: (Гончаров 2022).

почвенных, телесных, и близких к мечте, соблазну, иллюзорным пространствам. Особый трагический контекст, который невозможно вычеркнуть из истории места, не позволяет мне предложить здесь одномерную интерпретацию, объясняющую притягательность руин, постсоветских разрушений, изоляции и ландшафтах смерти через концепцию *guin porn* (см.: Lyons 2018). Уникальность наблюдаемой ситуации заключается в том, что перед нами скорее сложная игра между различными «паттернами удаленности», которые отражают друг друга, ставя под сомнение даже то, что является гетеротопией (контрпространством или пространством «нигде»), а что местом разворачивающихся событий и точкой, «откуда» воображают.

Литература

Гончаров Н.С. (2022) Связность компонентов окружающего пространства жителей села Русское Устье как адаптивный ресурс. *Сибирские исторические исследования*, 4: 221–249.

Запецкий В. (1992) *Колташевский Яр*. Новосибирск: Сибирская книга.

Кузнецов А.Г. (2016) Транспортные медиации: формы машинного и материалы человеческого. *Этнографическое обозрение*, 5: 40–52.

Латур Б. (2014) *Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию*. М.: Издательский дом Высшей школы экономики.

Мохов С.В. (2017) Пространство и дисфункциональность инфраструктуры в контексте похоронного ритуала. *Антропологический форум*, 35: 189–212.

Мамонтова Н.А. (2021) Геовласть, экстрактивизм и вертикальные территории: эссе о «геологическом повороте» в социальной антропологии (на примере работ Э. Повинелли и К. Юсофф). *Сибирские исторические исследования*, 4: 249–260.

Рахманова Л.Я. (2023) Переправа / Глоссарий инфраструктур. *Неприкосновенный запас*, 1: 200–208.

Соколова А. (2011) Похороны без покойника: трансформации традиционного похоронного обряда. *Антропологический форум*, 15: 187–202.

Фаст В.Г. (1990) Нарымские «дезертиры» и дезертиры. Открытое письмо организаторам уничтожения могил массового террора в г. Колпашево. *Летопись террора. Рукописный журнал исторической секции Томского историко-просветительского общества «Мемориал»*. 2: 20–65.

Фуко М. (2006) *Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью*. Ч. 3. М.: Праксис.

Цзин А. (2017) *Гриб на краю света. О возможности жизни на руинах капитализма*. М.: Ад Маргинем Пресс.

Шенле А. (2018) *Архитектура забвения: руины и историческое сознание в России Нового времени*. М.: НЛО.

- Щепанская Т.Б. (2017) Институционализация рекрементальных практик. *Этнографическое обозрение*, 1: 135–140.
- Agamben G. (1998) *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Appel H., Anand N., Gupta A. (2018) Introduction: Temporality, Politics, and the Promise of Infrastructure. In: *The promise of infrastructure*. Durham: Duke University Press.
- Ardener E. (2007) Remote areas. Some theoretical considerations. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 2(1): 519–533.
- Arendt H. (1992). *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. N.Y.: Penguin Books.
- Auge M. (2009) *Non-Places: An Introduction to Supermodernity*. L.: Verso.
- Bolotova A. (2014) *Conquering Nature and Engaging with the Environment in the Russian Industrialised North*. Helsinki: Academic Dissertation.
- Carse A. (2017) Keyword: Infrastructure — How a Humble French Engineering Term Shaped the Modern World. In: Harvey P., Jensen C.B., Morita A. (eds.) *Infrastructures and Social Complexity: A Companion*. L.: Routledge: 27–39.
- Fergusson J. (2012) Structures of responsibility. *Ethnography*, 13(4): 558–562.
- Fergusson J. (1994) *The anti-politics machine: development, depoliticization and bureaucratic power in Lesotho*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Grundy-Warr C., Sidaway J.D. (2006) Political geographies of silence and erasure. *Political Geography*, 25: 479–481.
- Harvey P., Knox H. (2015) *Roads: An Anthropology of Infrastructure and Expertise*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Humphrey C. (2002) *The unmaking of Soviet life: everyday economies after socialism*. Ithaca; L.: Cornell University Press.
- Humphrey C. (2004) Sovereignty. In: Nugent D., Vincent J. (eds.) *A Companion to the Anthropology of Politics*. Oxford: Blackwell: 418–436.
- Humphrey C. (2015) ‘Remote’ areas and minoritized spatial orders at the Russia — Mongolia border. *Études bouriates, suivi de Tibetica miscellanea*, 46: 1–19.
- Ingold T. (2000) *The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*. L.: Routledge.
- Ingold T. (2013) *Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture*. L.: Routledge.
- Krasteva A., Membretti A., Dax Th. (2022) Reconstruction of remoteness as a new centrality and dialogical cocreation of living together. In: Membretti A., Dax T., Krasteva A. (eds.) *The Renaissance of Remote Places: MATILDE Manifesto*. L.: Routledge.
- Kuklina V., Holland E. (2018) The roads of the Sayan Mountains: Theorizing remoteness in eastern Siberia. *Geoforum*, 88: 36–44.
- Langwick S. A. (2018) A Politics of Habitability: Plants, Healing, and Sovereignty in a Toxic World. *Cultural Anthropology*, 33(3): 415–443.

- Lefebvre H. (1991) *The Production of Space*. Oxford: Blackwell.
- Lorimer J. (2015) *Wildlife in the Anthropocene: conservation after nature*. Minneapolis, L.: University of Minnesota Press.
- Lyons S. (ed.) (2018) *Ruin Porn and the Obsession with Decay*. Palgrave Macmillan.
- Marris E. (2013) *The Rambunctious Garden: Saving Nature in a Post-Wild World*. Bloomsbury.
- Maudlin D., Vellinga M. (eds.) (2014) *Consuming Architecture: On the Occupation, Appropriation and Interpretation of Buildings*. N.Y.: Routledge.
- Mbembe A. (2004) Aesthetics of superfluity. *Public Culture*, 16(3): 373–405.
- O'Neill B. (2012) Of camps, gulags and extraordinary renditions: Infrastructural violence in Romania. *Ethnography*, 13(4), 466–486.
- Pohl L. (2022) Aura of decay: Fetishising ruins with Benjamin and Lacan. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 47 (1): 153–166.
- Povinelli E. (2016) *Geontologies: A Requiem to Late Liberalism*. Durham: Duke University Press.
- Rippa A. (2019) Zomia 2.0: branding remoteness and neoliberal connectivity in the Golden Triangle Special Economic Zone, Laos. *Social Anthropology*, 27(2): 253–269.
- Rodgers D., O'Neill B. (2012) Introduction: Infrastructural violence: Introduction to the special issue. *Ethnography*, 13(4): 401–412.
- Sæþórsdóttir A.D., Hall C.M., Saarinen J. (2011) Making wilderness: tourism and the history of the wilderness idea in Iceland. *Polar Geography*, 34(4): 249–273.
- Schnitzler von A. (2018) Infrastructure, Apartheid Technopolitics, and Temporalities of “Transition”. In: Appel H., Anand N., Gupta A. (eds.) *The promise of infrastructure*. Durham: Duke University Press.
- Schweitzer P., Povoroznyuk O., Schiesser S. (2017) Beyond wilderness: towards an anthropology of infrastructure and the built environment in the Russian North. *The Polar Journal*, 7(1): 58–85.
- Schweitzer P., Povoroznyuk O. (2019) A right to remoteness? A missing bridge and articulations of indigeneity along an East Siberian railroad. *Social Anthropology*, 27(2): 236–252.
- Scott J. (2009) *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. Yale University Press.
- Simome F. (2012) Infrastructure: Introductory commentary. *Curated collections, Cultural Anthropology website*, November 26.
- Smith N. (1996) *The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City*. N.Y.: Routledge
- Ssorin-Chaikov N. (2016) Soviet Debris: Failure and the Poetics of Unfinished Construction in Northern Siberia. *Social Research*, 83(3): 689–721.
- Stasch R. (2013) The poetics of village space when villages are new: settlement form as history making in Papua, Indonesia. *American Ethnologist*, 40(3): 555–570.
- Stoler A.L. (2013) *Imperial debris: On ruins and ruination*. Durham: Duke University Press.

Tin T., Summerson R., Yang H.R. (2016) Wilderness or pure land: tourists' perceptions of Antarctica. *The Polar Journal*, 6(2): 307–327.

Urry J. (2002) *The Tourist Gaze*. 2nd ed. L.: Sage.

Источники

ПМА 2017, ПМА 2019 — Полевые материалы автора, июль-август 2017 и 2019 г., Томская область.

THE “PATTERN OF REMOTENESS” AND LIFE ON THE RUINS: EVERYDAY LIFE AND TOURISM IN TOMSK OBLAST

Lydia Rakhmanova (lrakhmanova@hse.ru)

HSE University, St. Petersburg, Russia

Citation: Rakhmanova L. (2024) «Pattern udalennosti» i zhizn' na ruinakh: povsednevnost' i turizm v Tomskoy oblasti [The “pattern of remoteness” and life on the ruins: everyday life and tourism in Tomsk Oblast]. *Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii* [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 27(2): 116–151 (in Russian).
<https://doi.org/10.31119/jssa.2024.27.2.5>. EDN: FFEMVD

Abstract. In examining non-obvious mosaic of everyday life and tourism practices in remote areas of Tomsk region, I propose a revision of “pattern of remoteness” notion as interpreted by Caroline Humphrey (2015), which is formed precisely in the “provincial” postsocialist context in opposition to spatial forms dictated by the metropolis. A series of paradoxes surrounds the specific tourism industry: denying connectivity, easy access to territory and transparency, locals and entrepreneurs create a complex network in which ruins and memorialization of historical trauma are particularly attractive, and key experience offered to the traveler is one's own authenticity through trial. Another paradox is that the more destruction of infrastructural elements occurs, the brighter the potential of nature tourism in the region. This observation calls for a reconsideration of ethnographic studies of tourism practices beyond the concept of heritage conservation and sustainability of communities. In my article, based on a series of case studies, I offer an alternative perspective on the concept of ‘resource’ in the context of tourism and ask: What does the fact that the wildness of landscape and ruins come to the fore and turn out to be an attraction tell us? How can the ruinization and landscape wilderness' revitalization call into question the view of remoteness as inequality and infrastructural violence? This critical step offers a different way of looking at ruptures and inequalities of socio-political space, showing how autonomy is gained through what is usually considered as ‘scarcity’. I also examine the relationship of remoteness to time and temporalities — firstly, by linking tourism and local forms of life to the tragic history of

exile and resettlement, secondly, by challenging the view that remoteness means marginalization through exclusion from processes of modernity.

Keywords: anthropology of infrastructure; remoteness; tourism; ruins; wilderness; Tomsk region; landscape; memorialization.

Acknowledgements

This article was written with support from RFBR grant no. 20-59-76003 ERA_t “Turning Nature into Environment on Tourist Frontiers: Communities, Conservation and Sustainable Development in Remote Areas”.

References

- Agamben G. (1998) *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Appel H., Anand N., Gupta A. (2018) Introduction: Temporality, Politics, and the Promise of Infrastructure. In: *The promise of infrastructure*. Durham: Duke University Press.
- Ardener E. (2007) Remote areas. Some theoretical considerations. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 2(1): 519–533.
- Arendt H. (1992). *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*. New York: Penguin Books.
- Auge M. (2009) *Non-Places: An Introduction to Supermodernity*. London: Verso.
- Bolotova A. (2014) *Conquering Nature and Engaging with the Environment in the Russian Industrialised North*. Academic Dissertation. Helsinki.
- Carse A. (2017) Keyword: Infrastructure — How a Humble French Engineering Term Shaped the Modern World. In: Harvey P., Jensen C.B., Morita A. (eds.) *Infrastructures and Social Complexity: A Companion*. London: Routledge: 27–39.
- Fast V.G. (1990) Narymskie «dezertiry» i dezertiry. Otkrytoe pis'mo organizatoram unichtozheniya mogil massovogo terrora v g. Kolpashevo. [Narym “deserters” and deserters. An open letter to the organizers of the destruction of mass terror graves in Kolpashevo. Chronicle of Terror.] *Letopis' terrora. Rukopisnyi zhurnal istoricheskoi sekti Tomskogo istoriko-prosvetitel'skogo obshchestva «Memorial»* [Manuscript journal of the historical section of the Tomsk Historical and Educational Society “Memorial”], 2: 20–65 (in Russian).
- Fergusson J. (1994) *The anti-politics machine: development, depoliticization and bureaucratic power in Lesotho*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Fergusson J. (2012) Structures of responsibility. *Ethnography*, 13(4): 558–562.
- Foucault M. (2006) Intellektualy i vlast': Izbrannye politicheskie stat'i, vystupleniya i intervyyu [Intellectuals and power: selected political articles, speeches and interviews]. Per. s fr. B.M. Skuratova pod obshchej redakciej V.P. Bol'shakova. Moscow: Praksis. Part 3 (in Russian).
- Goncharov N.S. (2022) Svyaznost' komponentov okruzhayushchego prostranstva zhitel'ei sela Russkoe Ust'e kak adaptivnyi resurs [Connectivity of the components of the surrounding environment space of Russkoe Ustye villagers as an adaptive resource]. *Sibirskie istoricheskie issledovaniya* [Siberian Historical Research], 4: 221–249 (in Russian).

Grundy-Warr C., Sidaway J.D. (2006) Political geographies of silence and erasure. *Political Geography*, 25: 479–481.

Harvey P., Knox H. (2015) *Roads: An Anthropology of Infrastructure and Expertise*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Humphrey C. (2002) *The unmaking of Soviet life: everyday economies after socialism*. Ithaca; London: Cornell University Press.

Humphrey C. (2004) Sovereignty. In: Nugent D., Vincent J. (eds.) *A Companion to the Anthropology of Politics*. Oxford: Blackwell: 418–436.

Humphrey C. (2015) 'Remote' areas and minoritized spatial orders at the Russia — Mongolia border. *Études bouriates, suivi de Tibetica miscellanea*, 46: 1–19.

Ingold T. (2000) *The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*. London: Routledge.

Ingold T. (2013) *Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture*. London: Routledge.

Krasteva A., Membretti A., Dax T. (2022) Reconstruction of remoteness as a new centrality and dialogical cocreation of living together. In: Membretti A., Dax T., Krasteva A. (eds.) *The Renaissance of Remote Places: MATILDE Manifesto*. London: Routledge.

Kuklina V., Holland E. (2018) The roads of the Sayan Mountains: Theorizing remoteness in eastern Siberia. *Geoforum*, 88: 36–44.

Kuznetsov A.G. (2016) Transportnye mediatsii: formy mashinnogo i materialy chelovecheskogo [Transport mediations: forms of machine and materials of the human.]. *Etnograficheskoe obozrenie* [Ethnographic Review], 5: 40–52 (in Russian).

Langwick S. A. (2018) A Politics of Habitability: Plants, Healing, and Sovereignty in a Toxic World. *Cultural Anthropology*, 33(3): 415–443.

Latour B. (2014) *Peresborka sotsial'nogo: vvedenie v aktorno-setevuyu teoriyu* [Reassembling the social: an introduction to actor-network theory]. Moscow: Izdatel'skii dom Vyshei shkoly ehkonomiki (in Russian).

Lefebvre H. (1991) *The Production of Space*. Oxford: Blackwell.

Lorimer J. (2015) *Wildlife in the Anthropocene: conservation after nature*. Minneapolis; London: University of Minnesota Press.

Lyons S. (ed.) (2018) *Ruin Porn and the Obsession with Decay*. Palgrave Macmillan.

Mamontova N.A. (2021) Geovlast', ekstraktivizm i vertikal'nye territorii: esse o «geologicheskome povorote» v sotsial'noi antropologii (na primere rabot E.H. Povinelli i K. Yusoff) [Geopower, extractivism and vertical territories: an essay on the “geological turn” in social anthropology (on the example of the works of E. Povinelli and K. Yusoff)]. *Sibirskie istoricheskie issledovaniya* [Siberian Historical Research], 4: 249–260 (in Russian).

Marris E. (2013) *The Rambunctious Garden: Saving Nature in a Post-Wild World*. Bloomsbury.

Maudlin D., Vellinga M. (eds.) (2014) *Consuming Architecture: On the Occupation, Appropriation and Interpretation of Buildings*. New York, NY: Routledge.

Mbembe A. (2004) Aesthetics of superfluity. *Public Culture*, 16(3): 373–405.

Mokhov S.V. (2017) Prostranstvo i disfunktsional'nost infrastruktury v kontekste pokhoronnogo rituala [Space and infrastructure dysfunctionality in the context of funeral ritual.]. *Antropologicheskii forum* [Anthropological Forum], 35: 189–212 (in Russian).

O'Neill B. (2012) Of camps, gulags and extraordinary renditions: Infrastructural violence in Romania. *Ethnography*, 13(4): 466–486.

Pohl L. (2022) Aura of decay: Fetishising ruins with Benjamin and Lacan. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 47(1): 153–166.

Povinelli E. (2016) *Geontologies: a Requiem to Late Liberalism*. Durham: Duke University Press.

Rakhmanova L.Y. (2023). Pereprava / Glossarii infrastruktur [River crossing / A glossary of infrastructures]. *Neprikosnovennyi zapas* [Untouchable reserve], 1: 200–208 (in Russian).

Rippa A. (2019) Zomia 2.0: branding remoteness and neoliberal connectivity in the Golden Triangle Special Economic Zone, Laos. *Social Anthropology*, 27(2): 253–269.

Rodgers D., O'Neill B. (2012) Introduction: Infrastructural violence: Introduction to the special issue. *Ethnography*, 13(4): 401–412.

Sæþórsdóttir A.D., Hall C.M., Saarinen J. (2011) Making wilderness: tourism and the history of the wilderness idea in Iceland. *Polar Geography*, 34(4): 249–273.

Schenle A. (2018) *Arhitektura zabveniya: ruiny` i istoricheskoe soznanie v Rossii Novogo vremeni* [The architecture of oblivion: ruins and historical consciousness in Russia of the New Time]. Moscow: NLO.

Schepanskaya T.B. (2017). Institucionalizaciya rekrementalnykh praktik. [Institutionalization of recreational practices]. *Etnograficheskoe obozrenie* [Ethnographic review], 1: 135–140.

Schnitzler von A. (2018) Infrastructure, Apartheid Technopolitics, and Temporalities of “Transition”. In: Appel H., Anand N., Gupta A. (eds.) *The promise of infrastructure*. Durham: Duke University Press.

Schweitzer P. Povoroznyuk O., Schiesser S. (2017) Beyond wilderness: towards an anthropology of infrastructure and the built environment in the Russian North. *The Polar Journal*, 7(1): 58–85.

Schweitzer P., Povoroznyuk O. (2019) A right to remoteness? A missing bridge and articulations of indigeneity along an East Siberian railroad. *Social Anthropology*, 27(2): 236–252.

Scott J. (2009) *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. Yale University Press.

Simome F. (2012) Infrastructure: Introductory commentary. *Curated collections, Cultural Anthropology website*, November 26.

Smith N. (1996) *The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City*. New York: Routledge

Sokolova A. (2011) Pokhorony bez pokoinika: transformatsii traditsionnogo pokhoronnogo obryada [Funerals without the deceased: transformations of traditional funeral rites]. *Antropologicheskii forum* [Anthropological Forum], 15: 187–202 (in Russian).

Ssorin-Chaikov N. (2016) Soviet Debris: Failure and the Poetics of Unfinished Construction in Northern Siberia. *Social Research*, 83(3): 689–721.

Stasch R. (2013) The poetics of village space when villages are new: settlement form as history making in Papua, Indonesia. *American Ethnologist*, 40(3): 555–570.

Stoler A.L. (2013) *Imperial debris: On ruins and ruination*. Durham: Duke University Press.

Tin T., Summerson R., Yang H.R. (2016) Wilderness or pure land: tourists' perceptions of Antarctica. *The Polar Journal*, 6(2): 307–327.

Tsing A. (2017) Grib na krayu sveta. O vozmozhnosti zhizni na ruinah kapitalizm [Mushroom at the edge of the world. On the possibility of life on the ruins of capitalism]. Moscow: Ad Marginem Press (in Russian).

Urry J. (2002) *The Tourist Gaze*. 2nd ed. London: Sage.

Zapetskii V. (1992) *Kolpashevskii Yar* [Kolpashevo Cliffs]. Novosibirsk: Sibirskaya kniga (in Russian).